

НАТИГ РАСУЛЗАДЕ

Холодный месяц октябрь

Рассказ

Когда они пришли домой, она с порога игриво, наигранно-весёлым голосом спросила: «И многих ты приводил сюда, пока меня не было?», и неожиданно, как-то неестественно хихикнула, будто уверяя, что пошутила, и продолжения темы не будет; а он по привычке хотел осадить её, как всегда делал: «Ты что, с ума сошла?», но вовремя вспомнил, откуда забрал её полчаса назад, споткнулся о начало фразы, и возникла неловкая пауза, и она поняла, почувствовала, почему он остановился, почему не договорил, но ничего не сказала, даже виду не подала.

На улице было холодно, дул сильный ветер, потемневшее небо предвещало снег, необычный для южного города в это время года – конец октября.

– Холодно здесь, – сказала она, ёжась в пальто.

«Утечка тепла, – подумал он. – Утечка тепла повсюду, повсюду...».

– Ты же знаешь, нет отопления, – сказал он. – Сейчас печку включу.

Он притащил из прихожей в комнату электрическую печь, включил в розетку.

– Сейчас разогреется, – сказал он. – Этой печки вполне хватает на одну комнату.

– А малыш у бабушки? – спросила она.

– Да, – сказал он. – У них тепло, камин. В этом году октябрь слишком уж холодный, я оставил его у них. И ему там хорошо. Даже не хочет домой.

– Ещё бы, – сказала она с горечью. – Его там балуют. Он хоть вспоминал обо мне?

– Конечно, – сказал он, потрогал печку. – Вот, уже теплее. Ты можешь снять пальто.

– Соскучилась по нему, – сказала она. – Я же просила тебя хоть раз привести его...

– Ты что, с ума... – опять машинально спросил он, но снова осёкся и продолжил: – Как бы я его туда привёл? Что бы я ему сказал?

– Да, – согласилась она покорно. – Ты прав. Просто ужасно соскучилась, хотела повидать... А когда приведёшь?

Он не сразу ответил, отвёл взгляд, стараясь не смотреть ей в глаза, сказал неопределённо:

– Посмотрим... Нельзя так сразу.

– А что такое? Я что, заразная? Просто поговорю с ним, поглажу его, поцелую... – настроение у неё менялось молниеносно, и теперь от весёлого тона не осталось и следа, голос её чуть дрожал, что обычно предвещало вспышку истерики, но сейчас, слава богу, до этого не дошло.

– О чём с ним поговоришь? Ему всего три годика. Не забыла? – сказал он, внимательно и настороженно глядя на неё.

Она сняла пальто и осталась в одном домашнем халате, который не хотела снимать, переодеваясь в больнице, чтобы не мешкать, поскорее выйти оттуда, покинуть эти опротивевшие, проклятые стены, больничные палаты, этих новых знакомых, с которыми вынуждена была делить свое одиночество, вынуждена была находить общий язык. Увидев её в халате, он на миг отвёл глаза, сердце облилось горячей волной, только теперь он почувствовал, как сильно соскучился по ней, по единственно желанной, с которой так не повезло, так недолго был счастлив.

– Боишься подойти ко мне? – спросила она, через силу усмехаясь. – Ты явно завёл себе кого-то, да?

– Это тебя так беспокоит? – сказал он.

– Ещё бы это меня не беспокоило. А меня, значит, бросишь?! Что ты отворачиваешься? Что молчишь, а?! – она всё больше распялялась, и речь её становилась всё более нервной, почти неразборчивой, потому что, волнуясь и нервничая, она плохо произносила слова. – Завёл новую, новую любовницу! Да?! Да?! По глазам вижу, что так и есть! Хочешь покинуть меня, уйти от меня, оставить одну, совсем одну, одну?! – и вдруг возбуждённое её состояние мгновенно прошло, так же, как и вспыхнуло, исчезло, и она, переведя дыхание, совершенно спокойно проговорила: – Между прочим, там... В женском отделении... Я была самой красивой. – Она кокетливым жестом поправила волосы, которые сейчас трудно было назвать причёской. – Самой красивой, – повторила она, мельком глянув на него, и снова хихикнула; он встревоженно посмотрел на неё: это было что-то новенькое, это её хихиканье. – Все это признавали, все, все. А одна пожилая санитарка у нас в отделении, она говорит, говорит, вот выпишут вас, вернетесь по домам, по домам, пообщаетесь с мужьями, ну, она не так сказала, гораздо грубее, грубее гораздо, и опять, говорит, взбеситесь, коровы, и снова – к нам... – И она опять зачастила, глотая окончания слов, стараясь побыстрее выговориться, будто он собирался перебить её, хотя он стоял и спокойно – но с каким-то потерянным видом – слушал. Иногда, когда она торопилась высказаться, она некоторые слова повторяла дважды, будто брала разбег для следующей фразы. – Я, между прочим, есть хочу очень даже, – сказала она. – Есть дома что-то поесть? Ты, наверное, вне дома питаешься, малыш ведь там, у них... А мне такие уколы делали, взвоешь от боли. Уколы, да, уколы... И к чему это всё, для чего нужно, непонятно... И все время есть хотелось, а кормили так, что через полчаса опять есть хотелось.

– Ты мне всё это рассказывала там, – сказал он. – Я навещал тебя, не забыла?

Теперь, когда, наконец, она была рядом, была близко, наедине с ним, он пронзительно почувствовал, как сильно соскучился по ней; его тянуло к ней, к её телу, которое он приучил к самым изысканным и изощрённым ласкам, он соскучился по её телу за долгое её отсутствие, но только по телу, но не по ней, не по её тяжёлому, ненормально подозрительному, жутко ревнивому характеру, не по её всё более необъяснимым странностям, измучившим его за эти годы, и особенно – за последние месяцы; и теперь он старался не показывать этого, боялся, что она догадается, как он ждал её, и тогда всё начнется сначала; он думал: пусть она первая признается, ведь из них двоих самая нетерпеливая была она, а не он, нет, не он. Но что это меняло? – подумал он. – Что это меняло?..

Она прошла на кухню, открыла холодильник и стала высматривать, что бы взять, достала кастрюльку с вчерашним борщом, подняла крышку. Запахло вкусно. Она мельком глянула на него.

– Можно? – спросила она и тут же прибавила. – Надеюсь, можно?

Он хмыкнул, подтверждая, что принял её слова за шутку, а не за странность, которых в последнее время у неё было хоть отбавляй, пожал слегка плечами. Она включила газ, неудачно, неуклюже, не с первого раза, поставила кастрюльку на огонь, разогревать обед.

– Разучилась даже газ включать, – сказала она, словно оправдываясь. – Там же всё было на готовом, никто себе ничего не готовил.

Что-то странное бросалось в глаза в её поведении, и раньше было много непонятного, необъяснимого, но теперь было по-иному: она будто намеренно вела себя необычно, не так, как он привык за годы их совместной жизни, и это её неестественное хихиканье, будто нарочно старалась себе во вред убедить его в том, что он прав, думая о ней так, как думает, что все, все правы, все, кроме неё.

Он присел на стул возле кухонного стола.

– Ты не будешь? – спросила она.

Он покачал головой. И глядя, как она ест, он вдруг абсолютно не соответствующе моменту вспомнил, что давно уже забросил работу, давно не испытывал укол радости в сердце, когда оно обливалось горячей волной в предвкушении необычной, интересной находки, когда работа идёт, когда работа ладится, и сама ведёт его за собой. Он затосковал, молча глядя, как она жадно ест, роняя крошки на стол, на пол, и не мог отвести взгляда.

– Я потом всё уберу, подмету, – сказала она. – Там нас так плохо кормили... Хотя что я говорю, ты сам видел, что мы ели... А это ты в ресторане заказал? Вчерашний обед, да? Вчерашний борщ, между прочим, вкуснее, отстоявшийся... А! Я забыла сметану... Достань, пожалуйста... – она говорила торопливо и с таким видом, будто то, что сообщала, было очень важно и надо было поскорей всё сказать, частила, тараторила, не ожидая ответов на свои вопросы, и так же торопливо ела. – Мы там тоже так быстро кушали, кухня маленькая, сам видел, и наша палата ела в две смены, а если мы были в первой смене, остальные, кто ждал, стояли прямо за спинами, дышали в затылок, как бы торопили... Ты когда в самом начале принёс котлеты киевские и жареную картошку – помнишь? – я тогда есть не хотела, не было аппетита, была подавлена, тогда ещё не привыкла к новым условиям и угостила одну больную, и потом не могла избавиться от неё, она всюду как тень ходила за мной, особенно когда ты навещал, ждала подачи, ну, ты видел сам...

– Здесь ты можешь не торопиться, – сказал он, глядя на неё и думая о чём-то своем, ещё не совсем конкретном, не оформившемся, не определившемся, но наплывами в голове уже постепенно зарождающемся, и может быть, может быть... повторится то, что раньше много раз повторялось и уводило его от этой тяжелой повседневности, утомительной яви, и он жил там, в другом мире, повторялось, и всегда, как правило, был результат, а теперь уже давно не возникало, не накатывало, не сжималось тревожно сердце в добром предчувствии, добром и беспокойном...

– Что ты сказал? – спросила она.

– Ничего, – проговорил он. – Разве я что-то сказал?

– Я говорю, мы там привыкли отдыхать после обеда, я потом всё приберу, ладно? Посуду помою... – сказала она. – Просто глаза закрываются, так мы там привыкли спать, особенно после этих жутких уколов – будь они прокляты! – столько сил отнимали...

Ему было неприятно, что она говорит во множественном числе, будто она член какой-то группы, стаи, и не представляет себя без этой своей стаи, без своих временных там, в лечебнице, товарок, которые и днем и ночью были рядом с ней...

От одного этого можно было свихнуться, – подумал он.

– Поначалу у меня прямо истерика была, когда я узнавала, что сегодня будут делать мне этот укол... – рассказывала она, складывая грязную посуду в раковину, и вдруг резко оборвала себя и сказала, – я прилягу, ладно?

Он кивнул.

– Иди в спальню, – сказал он. – Я ещё постель не убрал.

И то, что он сказал про постель и про спальню, разбудило в нём смутные чувства, которые были сильнее разума и всяких заумных убеждений о том, что пора ставить точку на их отношениях, пора кончать, иначе этот ад, эта крошечная жизнь, длившаяся с того дня, как она заболела – почти три года – грозит уничтожить всего его, всю его карьеру, работу, которой он решил посвятить себя, и в самом, можно сказать, начале пути, споткнулся... Но путь, сам путь, так славно, так удачно начинался, и он надеялся, что впереди его ждет успех и достижение целей, которые он так самоуверенно ставил перед собой. Остаться с ней – значило погибнуть, как профессионалу, значило всё принести в жертву... Но... она же живой человек, и он любил её, и многое ещё оставалось от этого чувства... А теперь он думает, как бы избавиться от неё... Но как, как? Господи, как это сделать? Когда всё уже так крепко, так крепко-накрепко связало его по рукам и ногам и дышать не даёт... Как это сделать, когда к тому же и малыш?...

Это началось уже давно, почти сразу после рождения сына; после очередного жуткого, беспричинного скандала с ним у неё пропало молоко, впрочем, дело было, наверняка, не только в скандале, пропало и пропало, с кем не бывает, но вслед за тем появились странности в поведении, нескрываемая подозрительность к нему, холодное отношение к новорожденному, которого кормила грудью нанятая кормилица, кратковременные приступы легкой депрессии, когда по утрам она не хотела подниматься с постели... всё это началось и продолжается по сей день, теперь в более тяжёлой форме, – вспоминал он уже в который раз, будто, вспоминая, мог установить причину, дойти до сути и, по возможности, устранить, то есть добиться того, чего не могли добиться врачи.

Он прошёл в кабинет и сел за свой письменный стол, некоторое время сидел, уставившись на монитор выключенного компьютера, стараясь сосредоточиться, но через минуту понял, что это невозможно, потому что мешали всякие посторонние мысли, что были теперь совсем не посторонними, и надо было решать, и уже надо было решить, прийти к какому-то решению... нет, невозможно, – прошептал он, чтобы услышать свой голос, который, в сущности, уговаривал его не работать, оправдываясь тем, чем, по сути, невозможно оправдаться, – да и потом, – настаивал голос в нём, – если это было невозможно все дни и недели, что проходили без неё, и я так и не смог начать, то теперь, когда она здесь... И будто услышав его мысли, его робкий, трусливый шёпот, – из спальни донёсся её голос, уже сонный, уже плохо слышный, уже невнятный, как вся моя жизнь, вся моя жизнь, бесценная моя.

– Я что хотела спросить, – донеслось из спальни с распахнутой дверью, будто приглашающей его войти. – Он как, хорошо кушает?

До него не сразу дошёл вопрос, но после паузы он ответил.

– Не знаю. Малыш ведь постоянно у них.

Он вдруг подумал, что после обеда она не почистила зубы, и, верно, губы её... её губы... губы её теперь пахнут борщом, её жирные губы пахнут борщом, пахнут борщом её губы, её губы, губы...

Он встряхнул головой, чтобы отделаться от этих прилипчивых пиявок, скользких червячков, которых и мыслями не назовёшь, машинально включил компьютер, повертелся на крутящемся рабочем кресле и обхватил голову руками так, будто, стиснув голову, хотел выдавить из неё хоть какие-то мысли не о том, не о том, что сейчас его так угнетало, что мучило и убивало своей неопределённостью, а о том, что могло бы родиться, начни он писать, что могло бы возникнуть на экране монитора или на чистом листе бумаги, но ни единой фразы, ни одного предложения, ни одного слова, что могло бы потянуть за собой остальные слова и предложения, как раньше бывало, не приходило... пустыня, пусты-ыня-а-а...

Рассказ, что он начал писать и никак не мог закончить, и даже не мог продолжить, был о старике, у которого недавно умерла жена, совсем недавно; детей у них не было, первенец много лет назад умер годовалым от менингита, они жили одни и так привыкли друг к другу, что после смерти жены старик не мог оставаться дома и шёл ночевать в зал ожидания железнодорожного вокзала. По утрам он ходил на кладбище, на могилу жены, садился там на холодный камень возле свежей могилы и подолгу тихо разговаривал с ней, признавался в том, о чём никогда не говорил ей при жизни...

Он прислушался – из спальни слышно было её спокойное, мерное дыхание, она спала. Он прислушался к себе, но и прислушиваться не надо было, чтобы понять – он её хотел. Он часто вспоминал её тело, вспоминал, как был с ней, как она начинала дрожать от приближавшегося пика наслаждения, как стонала, кричала непонятно что, сводящие его с ума нечленораздельные слова. Он долго, не признаваясь самому себе, ждал её, он привык к ней, и ни одна женщина за последние годы и за время её пребывания в лечебнице, ни одна, с кем он ненадолго сходилась, не была для него так желанна, как эта сумасшедшая, как эта сумасшедшая сука!.. Пользуясь её долгим отсутствием, он встречался с другими женщинами, но так выходило, что только ради того, чтобы лишний раз убедиться, что по-настоящему только она ему нужна. «Она сломала мне жизнь, эта тварь испоганила мою жизнь», – думал он часто, представляя себе, как будет убивать её в финале очередного скандала, что периодически вспыхивали из-за её бешеной ревности, придумывал фантастические эпизоды её убийства, так что каждый из этих эпизодов можно было развить в детективное, как минимум, в криминальное произведение. Он думал об этом, горько усмехаясь про себя. Со стороны улицы, через дорогу, находился ресторан, и иногда оттуда была слышна хорошая музыка, играли на рояле, но гораздо чаще громко пели безголосые певцы и певички и мешали работать, мешали писать, вернее – мешали думать о том, что он мог бы написать. Сейчас играли на рояле, час был неурочный, видимо, пианист репетировал, готовясь к вечеру, когда ресторан бывает полон.

Зазвонил квартирный телефон. Он знал, кто звонит, потому что, кроме матери, никто ему не звонил на квартирный номер. Но и на его мобильный в последнее время всё реже звонили, всё меньше поступало деловых предложений, заказов написать то, написать это, всё меньше приглашений на презентации фильмов и книг, всё меньше интервью – он отошёл от некогда активной общественной жизни, отошёл, как оказалось, и от своей личной, тесно связанной с творчеством, так получилось.

Он поднял трубку на пятом или шестом звонке.

– Ты не спал? – спросила мать.

Голос у неё был напряжённым, и он правильно понял её вопрос, понял, что она имела в виду.

– Нет, – коротко ответил он.

Наступила пауза. Ему это сразу надоело. Эта фальшивая многозначительность, нагнетаемая с её стороны в совершенно непредсказуемых жизненных ситуациях, раздражала, быстро утомляла, и он старался не говорить с матерью слишком долго и в особенности ненавидел разговоры с затянутыми паузами.

– Что ты хотела? – спросил он.

– Ты забрал её? – поинтересовалась мать. – Как она? В каком состоянии?

– Не старайся меня убедить, что тебе это на самом деле интересно, – резко ответил он и тут же пожалел потраченного многословия и даже чуть устыдился абсолютно неуместного в данный момент красноречия: говорить, а тем более – с матерью, на эту тему вовсе не хотелось, по крайней мере – сейчас.

– Только не вздумай приезжать за малышом, – сказала мать. – Мы стараемся не травмировать ребенка. Ему и без неё хорошо. Он даже не вспоминает.

– А как же мне быть? Не приводить его сюда? – раздражённо спросил он. – Как ты себе это представляешь? Я и так ни разу не водил его туда, к ней...

– Этого ещё не хватало бы! – воскликнула мать.

– Ладно, сами разберёмся. Он дома?

– Нет, пошёл с дедушкой гулять, – сказала мать.

– Но сегодня так холодно, – сказал он.

– Они в помещении, Парк-бульвар, на аттракционах. А потом придут, я уложу его спать. Не вздумай приезжать за ним, ты понял?

– Ладно, – сказал он примирительно, хотя приказной тон матери ему не понравился, и еще раз повторил. – Сами разберёмся...

– Да, да, – с горечью произнесла мать. – Уже однажды разобрались, когда произвели его на свет, а мы так ждали, так рады были, что наконец-то ты женился, а те...

Он бросил трубку. Сидел, опустив голову. А через минуту из спальни донёсся спокойный голос.

– Я всё слышала, – сказала она. Он не сразу отозвался.

– Ты разве не спала? – спросил он, обернувшись к распахнутой двери, не поднимаясь с кресла и не выходя из кабинета, будто опасаясь входить к ней в спальню.

– Совсем чуть-чуть, – сказала она, голос у неё был утомлённый. – Здесь такая тишина... Я отвыкла спать в тишине. Там постоянно кто-то говорил, кто-то с кем-то спорил, кто-то смеялся, кто-то ворчал... И днем, и ночью. Даже когда входила в палату санитарка и ругала тех, кто мешал спать остальным, они всё равно болтали, стоило ей выйти. Там вообще много разговаривали. – Он отметил, что на этот раз она не стала обобщать себя с остальными пациентками. – Значит, ты не приведёшь малыша? – спросила она робко и, не дожидаясь его ответа, на этот раз как-то вдруг и крепко заснула.

Постучали в дверь. Не хотелось вставать, открывать. К нему давно никто не приходил. Кто бы это мог быть? Друзей и приятелей, которые раньше часто заходили, порой даже выпившие заявлялись в гости без звонка и уводили его продолжать застолье, он давно отвадил своим холодным приемом – не до них было; родственники относились к нему так же неприязненно, как и он к ним, с соседями он еле здоровался. Так что, он никого не ждал... Стук повторился. На этот раз стучали более требовательно и продолжительно, и тогда он поднялся, уже заранее раздражённый и раздосадованный визитом незваного гостя и с сердитым выражением на лице пошёл открывать. В дверях стоял сосед с нижнего этажа, широко, лучезарно улыбаясь, вразрез настроению хозяина дома и пасмурной погоде.

– Вот, – сказал сосед, будто не замечая его озлобленного выражения и что-то в руках протягивая, на что он подчёркнуто не обращал внимания, уставившись на идиотски беспричинную улыбку соседа, которая, как пощёчина, взбесила его, как только он открыл дверь. – Купил твою книгу. Подпиши.

– Сейчас я занят, – как можно спокойнее сказал он, еле сдерживаясь, чтобы не взорваться. – Потом, потом.

– Э, что тебе стоит? – настаивал сосед. – Напиши хорошую надпись, буду показывать друзьям. Правда, не читал. Я вообще книги не читаю, но увидел твою фотографию, вот, думаю – это наш сосед, надо раскошелиться. Давай, напиши что-нибудь. Не зря же я купил твою книгу!

Кровь ударила ему в голову, он весь затрясся.

– Купил мою книгу?! – вдруг, сжав кулаки, закричал он так, что сосед вздрогнул и выронил книгу из рук. – Так что мне, руки тебе целовать?! Пошел вон, хамское отродье! Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое! Оставьте! – и он с грохотом захлопнул дверь перед носом соседа и, весь дрожа от ярости, пошёл к себе в комнату, сел в кресло, с которого поднял его стук в дверь.

Он пожалел, что бросил курить (после рождения сына он не позволял себе курить дома, а потом бросил курить и на работе, и на улице и вообще бросил), и пожалел, что теперь его даже не тянет закурить, чтобы успокоиться, как прежде бывало. Он отдышался, прислушался, но, как ни странно, его крик не разбудил её, или она скорее всего никак не среагировала на шум, равнодушная ко всему окружающему.

На столе, рядом с экраном компьютера, лежал перекидной календарь на деревянной подставке. Он глянул на листок с позавчерашним числом, лениво перевернул его, посмотрел внимательно, убедился, что теперь число именно сегодняшнее. Раньше, месяца три-четыре назад, он записывал все предстоящие дела на календарных листках, но теперь листки были чистыми, пустыми. Он посмотрел на пустые календарные листки. «Как моя душа, – подумал он, – пусто, как в моей душе». Он любил быть аккуратным в таких мелочах и вовремя переворачивал листки, чтобы не опоздать в завтрашний день. Он был аккуратным, как и утверждал его гороскоп. Перевернув листок, он его погладил пальцем и посмотрел в окно. Окно выходило во двор. Шел мокрый снег, снежинки ложились маленькими пятнышками на стекло окна и таяли, стекали вниз. Хотелось спать. Он чувствовал, как невыразимо устала душа, как тяжело, будто избитое, истоптанное ногами, устало тело. Корешок одной из книг на книжной полке выдался несколько вперёд, он, не поднимаясь с кресла, протянул руку, чтобы задвинуть книгу на место, чтобы она встала на одну линию с остальными, но вместо этого неожиданно для себя вытянул книгу, зажатую справа и слева другими книгами, посмотрел на обложку – Хемингуэй. Обложка была красиво оформлена. Красиво и с хорошим чувством меры. Рука, кажется, была знакомая. Местное издательство. Он посмотрел на последней странице, в выходных данных, и, как и предполагал, он знал художника. Он машинально стал перелистывать страницы. Давно он не перечитывал Хемингуэя. В последние годы он только перечитывал своих любимых писателей, из которых, кстати, и состояла вся его большая домашняя библиотека, и как бы ему ни хвалили, как бы ни рекомендовали новые книги, новые имена, уже ставшие звёздными на литературном небосклоне, он редко читал новинки, боялся разочароваться. Старые, проверенные мастера ему больше нравились, хоть они, может, теперь и не были столь яркими для современного читателя, но звёзды эти были негасимыми, на все времена, и никто и ничто их не могло затмить. Он вспом-

нил, как много лет назад, в студенческие годы, жарко спорил со своим сокурсником, утверждавшим, что Хемингуэй, Селинджер, Фитцджеральд и многие другие, коим подражали и увлекались в то время молодые литераторы, очень скоро отойдут к подросткам, а взрослые, с богатым жизненным опытом, читатели отвернутся от них. С того яростного спора прошли годы. Не отвернулись. По крайней мере не отвернулся он, человек с жизненным опытом. Меняю жизненный опыт на маленький кусочек счастья. Объявление. Перелистывая страницы книги, он задержался на рассказе «Снега Килиманджаро». Потом захлопнул книгу и аккуратно втиснул её на место. Аккуратно. Так, чтобы не выдвинулась корешком вперед, зажатая слева и справа книгами Булгакова и Борхеса. Конечно, и позёрство порой встречалось в прозе Хемингуэя, – думал он, вспоминая, – особенно в его ранних рассказах, но как бы то ни было, это было настоящее. Впрочем, почти все начинают с подражания знаменитым предшественникам, все, кроме самых-самых великих, ничего иного не признававших, кроме ремесла. В одном из рассказов Хемингуэя... Где же он об этом пишет? Он глянул на полку, где книга прочно стояла на своем прежнем месте, но поленился вновь взять её... И стал припоминать. Проза, ещё никем не написанная... Великая проза. Для создания которой требуется от писателя слишком много: огромный талант, как у Кипплинга, дисциплина... кажется – Флобера, – он дёрнулся, чтобы всё-таки достать книгу с полки и поискать нужный рассказ, уточнить, и опять охватившее безразличие остановило его жест в самом начале: какая разница, – подумал он, – примерно помню... Далее: точно знать, чего хочешь; далее: ум, бескорыстие, совесть, и, кажется, ещё – не обращать внимания на бытовые проблемы... Если всё это есть в одном человеке... Да, как же, попробуй, не обращай...

Среди падавшего снега за окном вдруг выглянуло солнце, яркий луч его скользнул по письменному столу и там и остался, медленно угасая. Тревожное ощущение и неуверенность ни в чем, начавшиеся несколько часов назад, когда он забирал её из больницы, и немного притихшие совсем недавно, когда она уснула, вдруг с новой силой пробудились в нем, словно предчувствие... И тут он услышал то, чего боялся, то, что подтвердило его предчувствие, чего давно не слышал, и думал с хрупкой, хрупкой надеждой, что уже не повторится – тихий плач из спальни. «Опять?! Опять?! Опять?!», – дрожа от злости, подумал он, не в силах сдерживаться больше, не в силах противостоять этому кошмару, длившемуся уже почти три года, и он заорал изо всех сил, будто желая этим диким криком приостановить обрушивавшуюся на него беду, сминавшую его беду, грозившую окончательно раздавить его беду.

– Опять?! – закричал он так, что зазвенело стекло в окне. – Опять?!

И в тишине, наступившей после его истошного крика, ему показалось, что плач стал тише, хоть и был тихим с самого начала, был жалобным, словно не желавшим беспокоить никого, и особенно его. Сердце его сжалось от жалости и любви. Он тяжело, как старик, придавленный годами, поднялся из-за стола, пошёл в спальню. Она плакала, отвернувшись к стене, с головой накрывшись одеялом, голая худая спина её с проступавшими костяшками позвоночника, с которой сползло одеяло, вздрагивала, и одна рука её все старалась вслепую натянуть край одеяла на оголённую спину. Он невольно дёрнулся на месте, чтобы помочь, как вдруг, откинув одеяло, она повернула к нему заплаканное, измученное, подурневшее лицо и, не сдерживаясь, крикнула в ответ:

– А ты что думал!? Что меня там вылечат, в этом бардаке?! Меня там только мучили! Эти уколы, эти проклятые, страшные уколы, которые никого не лечат, эти из-

верги... Они получали удовольствие, когда видели, как я страдаю... Я измучилась, измучилась! Я умереть хочу! Я даже его видеть не хочу, правда, не хочу, не хочу его видеть! Умереть, чтобы избавиться от этого кошмара. Скажи, пусть меня убьют, скажи! Пусть мне сделают укол, усыпят, как собаку! Скажи им, я согласна, я умереть хочу! Избавиться от всех вас, избавиться от себя! – она уже плакала в голос, рыдала и кричала, швыряя ему в лицо горькие слова, извиваясь в постели, как от страшной боли, грызущей её душу.

Он стоял в распахнутых дверях спальни и смотрел, как она рыдает, как кричит охрипшим уже голосом, постепенно, медленно, медленно успокаиваясь. И когда она успокоилась окончательно и вытянулась в постели, он подошёл и аккуратно накрыл её одеялом. Немного постояв возле кровати, он вышел, прикрыв за собой дверь, и уже на пороге, выходя из спальни, он услышал вслед себе её тихий шёпот:

– Я не сумасшедшая.

Эта жалкая фраза догнала его, ударила в сердце. Он замешкался в дверях на миг, потом плотно, без стука прикрыв за собой дверь и, стоя в коридоре, вдруг вспомнил, как три месяца назад, когда отвозил её в лечебницу после длительной, тяжёлой депрессии (когда ничего не ела, сутками не произносила ни слова, исхудала страшно, беспричинно плакала с утра до ночи, а ночью, обессилев от долгих рыданий, забывалась тревожным, чутким сном) и, вернувшись через день, чтобы навестить её и поговорить с врачами, он неожиданно столкнувшись с ней на пороге её общей палаты, похолодел от ужаса, увидев её совершенно нормальный, без малейших признаков безумия взгляд. Он глубоко заглянул ей в глаза, ища хоть какое-то подтверждение своей уверенности в поставленном врачами диагнозе, но взгляд её был абсолютно нормален, и был умоляющим, говорил только о том, что вся её надежда связана с ним: заведи меня отсюда, – говорил её взгляд, – они все ошибаются, заведи. Но потом врачи его разубедили, точнее – убедили, что взгляд пациентов не всегда должен быть безумным, и что это ничего не решает и ничего не доказывает. Но то мгновенное ощущение, когда он заметил её взгляд и был потрясен от возможно допущенной страшной ошибки, было незабываемым, взгляд её стоял перед мысленным взором и мучил, мучил, высасывал из него жизнь. Хотя какая могла быть ошибка, когда и до больницы он долго возился с ней, показывал известным психиатрам, и все они говорили одно и то же, одно и то же, одно и то же, и он постепенно убеждался, что она тяжело больна, но всё-таки, всё-таки... этот её взгляд... его... его нельзя было забыть, он сверлил душу, как нож вонзался в сердце, и сердце обливалось горячей кровью, горячей жалостью и любовью. Что можно было поделать?.. Надо было жить дальше.

Он прошел в кабинет, отключил и перетащил печку к ней в спальню и, выходя, притворил за собой дверь, чтобы тепло оставалось в спальне, а когда вернулся, в кабинете уже было довольно прохладно. Он надел поверх тёплой рубашки шерстяной пуловер и сел за компьютер в твёрдой решимости заставить себя поработать, зная, что теперь он ещё неопределённо долго должен будет работать в таких условиях, в таких обстоятельствах, с таким адом в голове, с тяжестью в сердце, и, если удастся, каплю за каплей выцеживая эту тяжесть из сердца в строчки, в слова, забывая на время, на час, на минуту и не в силах забыть... Но недописанное не хотело продолжаться и беспомощно светилось с экрана монитора, остановившись на полуфразе...

АФАГ РАФИГГЫЗЫ

В Е Н О К С О Н Е Т О В

I

Открою что-то новое едва ли,
О чем бы написать ни захотела,
Но плачущей душе какое дело,
Что эту боль в веках переживали.

Пусть о любви давно уж все сказали,
И чье-то сердце первое пропело,
Наскальный высекая знак несмело,
О чувстве нежном, грусти и печали.

Давно открыто всё и всё воспето –
От звезд на небе до земных вещей,
И все ж меня не убеждает это,
И строчки непослушные в душе

Спешат излиться поскорей в сонеты.
И пусть все это было... с кем-то... где-то...

II

И пусть все это было... с кем-то... где-то...
Но это я в слезах мечусь сейчас.
Пусть повторялись миллионы раз
Любви земной и радости, и беды.

В цитатах пышных или без прикрас
Заслужено в веках ей гимны спеты.
Так многим ей обязаны поэты:
Им без нее не покорить Парнас!..

Немало о любви сложили притчей.
То смерть она, а то волшебный пир...
Ее в стихах Петрарка возвеличил,
И обессмертил на века Шекспир.

Когда она врывается кометой,
Уверен каждый: с ним впервые это.

III

Уверен каждый, с ним впервые это:
И те, кто до утра лежат без сна,
И те, кого тоскою жжет она,
И те, кто лаской нежною согреты.